

18+

Федор Самарин

КАНТАБАСЪ



Федор Самарин

Кантабасъ

«Издательские решения»

Самарин Ф.

Кантабась / Ф. Самарин — «Издательские решения»,

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ
ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН
И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Неожиданные, несколько мистические, иногда
смешные, подчас грустные и всегда почти необъяснимые происшествия,
случившиеся с героями этого сборника рассказов, уроженцев крохотного
уездного городка Протопоповска. Конец 19-го — начало 20 веков, все хорошо
и сытно, и до мировой войны еще целых 10 лет...

© Самарин Ф.

© Издательские решения

Содержание

КАНТАБАСЪ	6
ОБСЕССИЯ	7
МЕЗАЛЪЯНС	15
ОЗАРЕНИЕ	19
ГАЗЕТЧИК	22
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Кантабасъ

Федор Самарин

© Федор Самарин, 2026

ISBN 978-5-0071-2390-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Маргарите Сосницкой.

КАНТАБАСЪ

Куріозныя забобоны присныхъ обывателей.

Сложно писать, учитывая рамки приличия...
Гораций, «Ars Poetica».

ОБСЕССИЯ

В один из вечеров осеннего салона госпожи Кельх, после коньяков, обсуждения моды на «Демона сидящего», синематограф и, в особенности, выходки поэта Порывалова, съевшего, из супрематических побуждений, копию картины Репина «Бурлаки на Волге», подаренную обществу года четыре тому назад неким анонимным благодетелем, перед публикой выступил скромного вида старичок в старомодном сюртучке с увядшим цветком глицинии в петлице.

Был он сутул, мелок, плешив и тощ как стебель осеннего рогоза. Просеменив к фортепьяно и поерзав задом на банкетке, водрузил он на пюпитр кучку смятых листочков, потом левой рукою вдруг, будто у него на ней не пять, а восемь пальцев, взял неимоверно густой аккорд в мажоре, затем еще один, и еще, а правой принялся отбивать в воздухе ритм.

Никто этого старичка не объявлял, кажется, сама госпожа Кельх, не подавая виду, была в замешательстве, но когда тот закончил, первая плеснула было в ладони, да так дело до конца и не довела, потому что старичок — вся пьеса длилась не более трех, от силы пяти минут — внезапно встал, поклонился и несколько гнусаво проямлил, не обращаясь ни к кому и глядя в пол:

— — Это было... Это воспоминание дамы, от которой в будущем останется гениальность и незавершенность любви, которую я так и не сумел...

Взмахнул рукою — и как в воду канул. Пропал, будто его никогда и не было вовсе.

Потом долго говорили, что кто-то ведь, уж не сама ли Кельх, пригласила этого чудака, может быть, даже и оплатила этот его номер, так, забавы ради и для футуризма...

На рояле остались только мятые листы бумаги, на которые, уж много после того, как вышли на веранду и в сад пить шампанское и водку обескураженные гости, все смотрел, не отрываясь, Павел Андреевич Тишкин, теребя юную рыжую бородку на безусом, носатом, гладком лице и шуря чересчур большие серые глаза.

Ему было лень вставать с кресла. Томило какое-то неопределенное любопытство, выпитый коньяк, мечты о новом костюме, все вместе... Веяло чем-то магическим, магнетическим от номера старичка. Особенно от вот этих листов, намеренно оставленных старичком на рояле. Не мог человек их забыть, а забыл бы, тотчас же спохватился...

Нет, не вернулся, ни через пять минут, ни через десять.

С веранды слышался перезвон бокалов, женский смех, басы мужчин, осторожно заиграл маленький еврейский оркестр... У каждого из этих мужчин была супруга, а то еще и любовница, каждый со службы приходил к себе в теплые комнаты, шлепал по заду подвернувшуюся ненароком прислугу, одевал халат, шел в кабинет, садился в качалку под фикусом, выпивал стопочку лафита, курил душистую папиросу, потом мурлыкал с женой, ужинал холодной телятиной...

Павел Андреевич быстро огляделся, вскочил с места, бросился к роялю, схватил листы бумаги, сунул их в карман пиджака и выбежал из залы.

2

Стемнело.

Парковые аллеи покрылись пружинистой фиолетовой тенью, посеченной лунным светом и желтизной газовых фонарей. За спиной, чем дальше вглубь парка и к выходу из особняка, тем, казалось, все более нарастали звуки музыки, странно не заглушаемые густыми кустами сирени и шиповника.

До каменной ограды с высокой кованной калиткою оставалось шагов пятнадцать — уж виднелись крыши соседних домов — когда в облаке света от фонаря предстала перед ним размытая женская фигура.

Она была суха, стройна, в изящном облегающем, каких еще не носят, платье чайного цвета и широкополой шляпе, надвинутой слегка набекрень на левую бровь. Виднелись только затененные правильной формы тонкие губы и острый, с ямочкой, подбородок.

Вытянув руку в стянутой до локтя синей замшевой перчатке, дама шевельнула пальцами: — Отдайте.

Голос ее вызвал в Тишкине смутное, из глубин детства, воспоминание: оладьи, смородиновое варенье, аромат перезрелой райки и каких-то мелких желтых цветов... Такой же точно голос, грудной, глубокий, с трещинкой был у его кузины Татьяны, старше его на восемь лет, он мучительно и страстно любил ее целых три недели с хвостиком и даже посвятил ей (и не отправил) эротический сонет, за который теперь ему было стыдно.

— Отдайте, это вам не принадлежит и счастья вам не составит.

— Не понимаю, о чем вы. И, во первых, с кем имею честь?..

— Вы поступили низко. Верните то, что вы украли, и я забуду вашу низость. Иначе...

Ели бы перед ним оказался мужчина, допустим, ночью... проходной двор, черные окна, белье на веревках, пахнет помоями и кошкой... Павел Андреевич отдал бы листы тихо, молча и почтительно. Но дама... Когда вот прямо сейчас он отдаст ей ворованное, то ведь придется же бежать, сгорая от стыда, будто ему прилюдно закатали пощечину.

Павел Андреевич вскинул голову, свел брови и резанул воздух ребром ладони: жест, рассмотренный им у поэта Порывалова на выставке кочующих пейзажистов, где поэт читал непонятный, а говорили — глубокий и двусмысленный акростих.

— Иначе что? Кто дал вам право... Идите прочь! Я вас не знаю, и если никогда не поднимал руку на женщину, то, клянусь, еще одно слово, и я...

Павел Андреевич вытянул руку, будто целясь из револьвера, фонарь за спиной у дамы вдруг затрещал, вспыхнул дурным светом, брызнул искрами, погас, на мгновение обрушилась крошечная тьма, а когда глаза привыкли к голубоватому сиянию луны, то оказалось, что стоит он у пересохшей чаши старого фонтана перед фигурой обнаженной вакханки в огромном венке из виноградных листьев с плодами.

3

Обходя лужу перед парадной, Павел Андреевич на цыпочках, стараясь не намочить штилеты, перебежал по кирпичам ко входу, дернул ручку двери, в три приема взбежал к себе на второй этаж, мгновенно скинул с себя штаны, пиджак и прочее, хватил из кружки квасу и, не влезая в пижаму, рухнул на шишковатую, горбатую постель, не застеленную еще с позапрошлой ночи.

Его трясло.

Перед глазами метались жирные черные мухи с оранжевыми крыльями, в голове стучали крохотными молоточками какие-то карлики молотобойцы, мысли ошметками летели в разные стороны, смешиваясь в противную кашу: деньги, наследство, службы нет, сколько еще маменька может выслать, в присутствие идти решительно не в чем, сейчас бы расстегая горячего и бульону, а не то каши гречневой с печенкой, у Соколовских обедают в три часа, зачем давеча в карты сел у Новикова, Наденька теперь в деревне, зря коньяку выпил, счет за квартиру больно высок, носки заштопать, а Порывалов та еще сволочь...

Как ни гнал он от себя видение дамы в шляпе, случай был исключительный. Сквозь расстегай с бульоном и счета за квартиру все вставала перед ним ее изящная фигура и виделся блеск ее тонких влажных губ. Она манила, пугала, притягивала. Откуда взялась? Кто такая? Не призрак — у призраков разве бывает, чтобы грудь вздымалась от дыхания, и какая грудь... И губы, однако, не синие... Может, сидела там где-нибудь в зале, не приметно, подглядела, как он к роялю-то прыгнул, а потом и подстерегла...

Павел Андреевич боялся встать и заглянуть в листы.

Что, если в них действительно что-нибудь этакое. Из дневников интимных. Компроматация высокого полету. Касательно высокопоставленной персоны... Или еще какое излияние. Вот коли б было донесение... В германскую разведку, зашифрованное хитрым способом. А не то, формула какая-нибудь химическая, за которую любое государство сделает фельдмаршалом...

Хотя пусть бы себе и стихи. Может, в самом деле гениальные. Такие, каких даже сам Игорь Северянин сочинить не сможет. Допустим, что и стихи.

И что с ними делать?

Первое, уехать. В другой город. В другую губернию, на юг куда-нибудь, в Таганрог, что ли. Северянин человек обеспеченный, говорят, даже очень... А вот и издать. Не за своей фамилией, а псевдоним взять. Какой? Ну, скажем, Отверженный. Станислав непременно. Нет, лучше Опаленный. А имя народное, глубинное. Герасим. Герасим Опаленный. Нет, надо чтобы на «ский» в конце, или на «ской», вроде Крамского: Луговский, Луговской. Долинский звучнее.

А лучше всего к немцам податься. В какой-нибудь Аугсбург. Где там Тютчев жил? Вот туда. Там и издать. Сразу известность, шум в газетах, русская публика в восхищении, в недоумении: кто таков? Откуда взялся новый... ну, не пророк, конечно... Гонорары! Все под покровом тайны. Возбуждение в обществе. Репортеры рыщут по всей Европе. И дом купить, виллу, в Италии, чтоб море и сосны, и жениться. По утрам, значит, кофий на террасе, виды умопомрачительные, потом чего-нибудь запеченного в тесте, в обед всякие диковины морские и персики на десерт. И прогулка на яхте. Яхту надо обязательно, а к ней форму капитанскую, трубку и вот еще — кортик.

Одна беда, на ком жениться, коли по-немецки ни бум-бум.

И потом, что ж дальше-то? Состояние он, конечно, спустит... Писать надо будет. А что ж и не писать-то. Писать, не паровозы делать. Писал же он в альбомчик Наденьке Елистратовой, и неплохо выходило. И Леночке Румянцевой, помнится, и этой... у нее еще тетенька княгиня... Маменька восторгалась, и учитель словесности господин Ягайло тоже как-то при всем классе отметил: «Взошел новый побег на ниве русской поэзии». Да и кто не писал? Как не писать, когда зима по полгода, а по осени грязищи по колено?

Но, однако ж, публику-то не проведешь. Ей подай свеженького, с пылу, и чтоб не хуже, чем давеча.

Нет. Не годится...

И кто б мог быть тот старикашка? Ну, были б у него коленки пузырями, рукава с бахромой, перхоть, нос сизый и локти сальные, оно понятно, что какой-нибудь приживала или из отставных актеров. Ан нет: одет с иголочки, франтовато, ни пылинки, и на лице некоторая даже упитанность...

Может, это он сам и был, Павел Андреевич Тишкин, только через много-много лет. А другой Тишкин, тоже настоящий, теперешний, видел сам себя там, за роялем, и сам же, выходит, у самого себя и украл. Знать бы, что...

Может, папенька Кельх? Из ума выжил, вот ему и дозволяется всякое. Или какой-нибудь родственник из Петербурга... Не дай Бог, в чинах. Действительный тайный советник. Или, скажем, тесть губернаторский, который на Москве, такое тоже может случиться. Не всякий человек к Кельхам вот так запросто за рояль, понимаешь, сядет, и чтоб перед публикой, а потом ручкою эдак небрежно сделает и был таков. Да и про любовь тоже... Такие шалости в преклонном возрасте только кто-нибудь особенный может себе позволить, у кого все права на шалости-то...

А что, если там ноты? Вот кабы сделаться музыкантом. Пианистом. А потом уж и композитором. Рояль такое черное животное, у него пасть и лапы, кажется даже, что дышит... В общем, другое дело, музыкант... Концерты в Вене. Афиши. Огни. Дамы в соболях. В Залыц-

бург на вакации. Овации. Цветы в корзинах. На нем цилиндр, черный шелковый плащ, усики отпустить и вид печальный, как у того господина, который Пьеро изображает... И ведь смог бы, ей-Богу, смог. Три года уроки брал у англичанки, Гертруды Вильямовны, плоской и носатой дылды в очках. Маменька настояща. Три года мучений. «К Элизе», «Сурок», «Полонез Огинского»... Воняло от нее вазелином и пудрой...

Ну, допустим, вот он композитор.

И прохаживается он в плаще и цилиндре, скажем, по набережной, в Ялте, что ли, нет, в Ницце. Все в огнях. Море гладкое, спокойное, луна подрагивает на мелкой ряби, пальмы, попугаи, шарманщик, пары фланируют туда-сюда, за столиками пьют божоле, галдят по-французски, и на огромной тумбе, верху донизу, его портрет — сего дня, там-то и там-то, единственный концерт... Его узнают, оглядываются, шушукают, и вот кто-то даже окликнул:

— Павел Андреевич! Как вам не совестно!..

Павел Андреевич хлопнул глазами, раз, другой — штора на балконной двери вздулась парусом, шлепнула о стекло, тюлевая занавеска взмыла вверх, и Павел Андреевич почувствовал, как у него, одна за другой, отнялись ноги.

4

На даме сидела все та же шляпа, только вместо платья — халат мышинного цвета с большими накладными карманами, полы которого волочились по ковру. Тишкину вдруг показалось, что вот сейчас она распахнет халат, а под ним ничего, то есть, совсем ничего, только перламутровое тело какого-то никогда им невиданного изваяния, его объяло... нет, не вождение, а возвышенная страсть, какая, верно, случается у психически недужных людей. Павел Андреевич тут же согласился, что сошел с ума, ему даже понравилось, как это произошло, хотя и мелькнуло в воображении, что скинувши халат, обнаружится под ним не Амфитрита, а старуха с дряблым пузом, в бородавках и обвисшими грудями, и почудился даже запах мочи и пота...

— Не пугайтесь, милостивый государь.

«Милостивый государь» она выговорила так, словно собиралась произнести «засранец». Потом сняла шляпу, поправила волосы, заложив за ушко золотистый локон, и присела на край кровати.

— У нас балконы рядом. Я по соседству нанимаю, года уж три. Да мы с вами иной раз в парадном встречаемся. Но, видимо, я не в вашем вкусе. Вы, сударь, никогда не здороваетесь... Думала, в парке меня узнаете. Ирина Владимировна Мережкина, приват-доцент кафедры госпитальной хирургии, Казанский университет.

— Приват... доцент?..

— Представьте, да. Не стала беспокоить стуком в дверь, решила... В общем, так получилось. Иногда поступки объяснить трудно, не так ли? Бывает, знаете, думаешь одно, говоришь другое, а делаешь уж вообще черт те что. И медицина тут бессильна. Человек субстанция человеком непознаваемая: вот вам первое свидетельство того, что Бог существует.

— Какой бог?..

— А такой. А может, и не Бог вовсе. Такой, который заставил вас украсть нечто чужое. И потом, я знаю о вас все.

— Что же?

— Что папенька ваш преставился сидя, от жестокого запору, что исподнее у вас в кармане, в левом кармане штанов дырка, и букву «ф» вы терпеть не можете. Отдайте. Отдайте немедленно, вы не представляете, что может случиться. Если отдадите, я сделаю вас действительным тайным советником, а коли нет...

Тут Павлу Андреевичу испугаться бы, а ему вдруг стало стыдно. Лежать перед дамой, в которую только что влюбился, слава Богу, что еще не в застиранной пижаме и с немытыми

пятками... Очень захотелось водки и по-маленькому... Он открыл рот и, сам себе изумляясь, пропищал:

— Дайте прочесть. Иначе я сейчас закричу.

Приват-доцент словно только этого и ждала. Кивнула, пожала плечами, встала, шагнула в сброшенному платью Павла Андреевича и выпростала из кармана смятые листы, точно зная, что они именно в правом. Разгладила, встряхнула:

— Читайте. Вы сами этого хотели. Я предупреждала.

Павел Андреевич схватил листы трясущимися руками, поднес к глазам, впился в убогистый, с наклоном вправо почерк, строчки заплясали, изогнулись, потом выпрямились и замелькали как телеграфные столбы за окном поезда, и вот уже ему казалось, что несется он по заснеженной степи, и вьюга швыряет в заиндевелое стекло огромные белые хлопья, и взмывают вверх, обрываясь на полпути, телеграфные провода, и дробно позвякивает чайная ложечка о край стакана с чаем, и черный дым от трубы стелется по белому, а белое по черному, и все уносится прочь, и почудилось ему, как руки его, и все тело, член за членом, неотвратимо всасывается в эти строчки, и вот он уже смотрит оттуда на самого себя, прямо в глаза, огромные глаза с жесткими ресницами...

5

Утром его разбудил хлоп шторы о балконную дверь. Сквозило. Ноги оледенели, тело взмокло; Павел Андреевич скинул на ковер пятки, опрокинул пустое ночное судно, и долго сидел на нем, всматриваясь в проем между шторой и дверной створкою: не прячется ли кто.

Затем, однако, взбодрился, решив, что если что и было, так то от нервов и густоты воображения, наскоро привел себя в порядок, мечтая о чае в трактире и холодной телятине.

Мелькнула вдруг давешняя блажь, а могло бы такое стать, что там, у Кельх, за роялем и в самом деле, по какой-нибудь трансформации времени и раздвоению всех молекул, сидел он сам, Павел Андреевич Тишкин, только спустя эдак лет сорок, а другой, и тоже настоящий, всамделишный Павел Андреевич, только теперешний, ему, то есть, самому себе хлопал, а после, значит, и украл? Сам у себя. Что? Уж верно что-то очень большое, яркое, значительное, такое, что...

Тут взгляд его упал на пиджак, в глубинах которого таилось чужое, и он снова почувствовал как немеют ноги и по затылку будто кто провел костлявой пятерней.

Пиджак, который был пошит у господина Когельмана и вышел ему в целых восемь рублей, который он боготворил и надевал только в исключительных случаях, к которому обращался на «вы», у которого было даже свое собственное имя — Аполлинарий, а иногда даже и отчество, всякий раз особенное, последнее — Орестович, которому поверял самые сокровенные свои тайны (умыкнул мельхиоровую ложечку с витой ручкой у Соколовых, подсматривал за барышнями в купальнях на Утином острове, у мадам Кельх исключительно кривые ноги, валета червонного в рукав давеча спрятал и т.п.), этот пиджак, распластанный возле шкафа, теперь казался ему раздавленным майским жуком чудовищного размера: такого жука в детстве он со скуки однажды убил, а жук был породистым, вальяжным и ничего не делал, просто сидел себе на садовой тропинке... В пиджаке вполглаза дремало, сопело, поджидало нечто, на что, как на голову Горгоны, смотреть было хуже, чем смерти подобно.

Павел Андреевич просеменил к пиджаку, схватил его за рукава и, словно ладони вдруг обожгло горящими угольями, быстро скомкал и, оглядевшись, сунул в мешок из-под орехов: маменька в эту осень прислала, он их в речку высыпал, а мешок зачем-то оставил...

Отерев мокрыми ладонями лицо, Павел Андреевич глубоко вздохнул, расправил плечи, прошелся туда-сюда, чувствуя в пятках легкое покалывание, задержался перед умывальником, плеснул водою в лицо, прополоскал рот, пригладил волосы, осмотрел, ощерившись, перед зеркалом зубы, подмигнул отражению — отражение ответило с едва заметною задержкой. Повеселев, Павел Андреевич порылся в шкафу, достал старенький, великоватый пиджачок, несколько

потертый на локтях и слегка засаленный на лацканах, но, однако ж, еще почти как новый, хотя куплен маменькою на Бог весть какие его именины. Влез в штаны, повязал крапчатый галстук, оправил пиджак, раза два прошелся по нему щеткою, еще раз посмотрелся в зеркало и решительно распахнул дверь.

На лестничной площадке пахло сырыми досками и щами. Помедлив перед соседней дверью, обитой кофейного цвета кожей в бронзовых заклепках, дернул за шнур, придав лицу выражение, какое обыкновенно можно встретить на лице городского.

Никакого приват-доцента, тем более, женщины за дверью не оказалось, а открыл ему, путаясь в полах татарского халата, полный, несколько приплюснутый с боков, низкого роста и с лысиной во всю голову, провизор Петропулос, похожий на копченого карпа.

Они долго смотрели друг на друга, ничего не говоря, потом Петропулос, выпучив глаза, ткнул жирным пальцем в латунную табличку со своим именем и захлопнул дверь.

Вернувшись к себе, Павел Андреевич, в чем был, рухнул на постель. Внутри отпустило. Он подрыгал обутыми ногами, хлопнул в ладоши, и мгновенно перенесся мыслью в трактир, нарисовав себе блаженство. Однако, прежде надо на почту, затем в собрание насчет места, еще к купцу Окаемову: у него младшенькая на выданье и хочет ей учителя словесности, потом маменьке отписать, чтобы выслала еще, на зиму...

Решил, что собрание может обождать. Под ложечкой засосало, рот исполнился слюною, вообразился даже запах горячего масла и нутро расстегая с налимьей печенью...

6

В трактире (Павел Андреевич давно облюбовал Феофановский, без вывески, где столонались приказчики из галантерейного) было темно, жарко и домовито. В углу пытели целых три огромных самовара; за столами — скатерти всегда исключительно белые — человек пять непонятного сословия, один, что поближе, с крашеным начесом на лысину с одного боку на другой, похожий на киргиза, как раз доедал кулебяку, деликатно чавкая и обсасывая короткие пальцы. За другими столами горбились, все в одинаковых серых сюртуках, над гречневой кашей с грибами, ватрушками, студнем, телятиной, схлебывали с блюдец красноватый чай, кидая в рот кусочки колотого сахара...

Павел Андреевич пожелал горячих пирогов с визигою, языку с хреном и «поповской» водки под жареные мозги на черном хлебце.

Минут через десять накатила истома, на висках выступил пот, все его существо объяло приятное оцепенение и, выйдя на свежий воздух, только спустя полчаса Павел Андреевич заметил, что шагает по аллее Нижнего гулянья к приземистому, в виде грубой рюмки, фонтану, окольцованному белыми каннами в человеческий рост и рядами скамеек.

За липами, кустами сирени и боярышника просматривался желтый бок дворянского собрания, и ни единой души. Только треньканье каких-то пичуг высоко в кронах, кажется, синиц.

Едва ощутил он задом приятно нагретое ложе скамейки и представил себе, как бы было, в самом деле, хорошо, кабы приват-доцент существовала взаправду, и взаправду бы вошла к нему через балкон, а там и поцелуи, и признания, а ночь испанская, желтая луна, пальмы, розы, и вот уж бьется он на шпагах с каким-то мавром, а там она опять падает к нему в объятия, как показалось ему, что сбоку кто-то на него пристально смотрит.

Павел Андреевич резко обернулся — над ним возвышался высокий, в черном сюртуке, костлявый господин, по виду — кавказец, причем, один глаз у него не открывался совсем, а левый был ослепительно синего цвета, тонкие, в нитку, губы, раздвоенный подбородок, один ус короче другого, а на руках синие замшевые перчатки.

— Как настроение, Павел Андреевич?

— М-мы знакомы?..

— Ну, уж коли у госпожи Кельх давеча закусывали, а потом пиесу слушали, то уж, верно, и выпивали, а раз выпивали, то непременно знакомы. Э-э... Не желаете ли сейчас к Щербаковым? Там нынче игра. Посидим... Вечеру дождь как раз обещали, слышите, птички смолкли...

Павлу Андреевичу сделалось так, будто выпил сейчас полную чашку уксусу. Однако ж, нашел он в себе утасяющие силы ответить:

— Да оно б и ничего. Да, знаете, мне домой нужно. Столько дел...

— А надо, так и пойдем. А после уж и к Щербаковым.

— Да нет, уж не обессудьте, Что уж. Я как-то сам, знаете, один. Столько дел, столько всего, и все спешно. Честь имею.

На этих словах Павел Андреевич, ему казалось, стремительно, откланялся и чуть не бегом припустил к дворянскому собранию, хотя оттуда до дома было квартала четыре, не меньше.

Взлетев по лестнице и захлопнув за собой дверь, Павел Андреевич метнулся к мешку с пиджаком, схватил его, зажал подмышку и, с чувством, будто только что убил человека, а в мешке еще теплый труп, бросился вон.

На мостовой, как и в парке, странным образом не было ни извозчиков, ни вообще единого человека. Воздух, казалось, застыл, сделался маслянистым, плотным, словно в июле. Где-то далеко слышался звук железа о железо, будто быют в рельсу, как при пожаре. С ближней колокольни прыснула стая ворон, прошелестев крыльями чуть не над головой, дала круг и снова облепила купол.

Улица к речке шла под уклон, и Павел Андреевич два раза поскользнулся на булыжнике, склизком, запотевшем, древнем.

По выдолбленным ступеням он, цепляясь за ветки ракит, боком спустился к берегу, ступил на мостки, подошел к самому краю, зажмурился и, широко размахнувшись, швырнул мешок в черную воду, напугав сонного селезня.

Два мужика, в подвернутых выше колен подштанниках, возились в камышах, и не обратили на него никакого внимания:

— Третью морду рвет, аспид! Жирный, должно...

Павел Андреевич смотрел на мешок, который медленно кружил, увлекаемый рекою вниз, к мельнице, к плотине, и дальше, дальше, за Жигулевские горы, и казалось ему, что это он сам, Павел Андреевич Тишкин, плывет вверх пузом, широко раскинув руки, и лица у него нет.

7

Больше о Павле Андреевиче Тишкине сказать решительно нечего. Что случилось с ним никому не ведомо, равно как и то, что же было в тех проклятых листах. Бог весть...

Да и курьезный случай этот стал известен только потому, что как-то, уже войдя в преклонные лета, сама госпожа Кельх рассказала о нем, причем, со слов самого Павла Андреевича, который, перед тем, как окончательно и бесповоротно исчезнуть, поведал ей об этом приключении, заодно — верно, был возбужден и выпивши — предложив ей руку и сердце, стоя на коленях, что она, разумеется, деликатно, но твердо тут же и отклонила.

Что же до старичка, то да, был, кажется, старичок. Госпожа Кельх приказала тогда его немедленно сыскать, нашли, да не того...

А Павла Андреевича видели, говорят, то ли в Казани, то ли в Твери, то ли действительно тайным советником, то ли приживалом. Земского предводителя супруга, Калерия Львовна, на вакациях встретила с ним случайно в Цвингере пред Сикстинскою Мадонною: как увидела его, так будто бы и обомлела... Лицо у него как бы не то, чтоб светилось, а эдак вот мистическим манером попыхивало, чисто перламутр... С другой стороны, может, оно от немецкого киршвассеру, уж больно заборист... Темна вода во облацех!

Мало ли на свете таких мест, куда иной раз заправит Господь русского человека, буде в неурочный час тронет его за душу длинными перстами какая-нибудь искусовая греза. И окажется вдруг, что теперь он будто бы даже и не человек вовсе, а вселенское обстояние...

МЕЗАЛЪЯНС

1

Влюбившись на скорую руку, Лиза Потемкина не то, чтобы вовсе не мечтала о замужестве. Замужество, это скучно, это папенька как-нибудь придумает. А пока что отпускала она себе некоторое туманное время, неопределенное, и в нем-то мечталось ей как по писанному: о зиме, санях, медвежьей шубе, вьюге, тайном венчании в забытой Богом церквушке, а потом, сразу же и без перерыва, об ужасном разочаровании и трагедии.

Впрочем, среди девиц это дело в большой моде и имеет преобладающее распространение.

Одним словом, мечта эта так ее захватила, что впала она в некий род жестокой болезненной тоскливости, никому, впрочем, не объясняя причины. Хотя все указывало на инженера Семиградова, начальника телефонной станции, который все время носил исключительно мундир, и был похож на поэта Полежаева, каким его рисуют в книжках.

Кирилл Мефодьевич, однако, стихов отродясь не писал да и не читал, а любил наливку на облепихе с медом, сыграть по маленькой в «любишь — не любишь» или в стуколку, ведевилъ господина Шишкина «Дети лесов», вареных раков и иногда захаживал ко вдове уездного секретаря мадам Косичкиной. На его взгляд Елизавета Порфирьевна выглядела чересчур уж как-то искусственно — мелка, бледна, глаза коровьи, бюст словно от другого туловища, тяжеловат, и постоянно у нее насморк.

Не то, чтобы у него был дурной вкус, однако к изяществу относился он с большим подозрением. Если бы Елизавета Порфирьевна встретилась вам, допустим, в кондитерской у Кузьмина, куда любила она захаживать ради профитролей и мазурок с орехами и изюмом, то вас наверное охватило б такое чувство, будто перед вами портрет Зинаиды Юсуповой. Только не господина Серова, а кисти его французского визави.

Лиза полагала, все непременно решат, что влюблена она, потому что ей в детстве нравились гусары, потому что девицам делать зимою в деревне решительно нечего, что Семиградов, безусловно, составит ей партию, и ее это устраивало, и еще потому, что хотела выучиться целоваться по-французски. Маменьку она совсем не помнила, а отцу на всякие тому подобные авансы было решительно наплевать, кроме своей суконной фабрики, новых паровых машин и локомобиль-рутьеров, за которыми он два раза на год ездил в Петербург, где у него, по слухам, имелась какая-то балерина.

Подругами Лиза не обзавелась, а коли б и обзавелась, не всякой подруге доверишь, что любовь ей понадобится, чтобы доподлинно выяснить, что в романах называется гибельной страстью.

Для этого и влюбилась.

Кириллу Мефодьевича видела она человеком опытным, разочарованным, таинственным и дуэлянтом, который вечерами сживает подле бюро и, задумавшись, грызет перо, курит длинную кавказскую трубку, чем-то смутно мучается, гуляет по аллеям, в общем, имеет на душе некую рану. А она, значит, должна его понять, пойти на подвиг, допустим, за ним на край света, там его утешить и рану залечить.

Если бы Лизе кто сказал или намекнул, что иногда начитанность вредна для здорового организма, она бы... Она бы согласилась, поскольку, хоть и гнала от себя эту мысль, а понимала разницу между Онегиным и Кириллом Мефодьевичем.

Вообще, любовь, как она обыкновенно выглядит в какой-нибудь тихой губернии, непременно влечет за собою несуразность, суетность, когда все из рук вон, ланиты розовеют, взор делается такой, будто с утра хлопнула девица натошак рюмку рябиновой, наряды все до одного плохи, подружки вьются с секретными видами, обмороки на каждом шагу, недоедания, короче,

всякое такое, чему должны быть подвержены барышни благородного состояния восемнадцати лет поголовно.

А тут... Сметенность и ажитация! Какая муха укусила Лизу, не мог дознаться даже Иван Иванович Кологривов, до поры известнейший в губернии медиум и знаток мест потусторонней силы, из коих струится магический эфир.

В обыкновенные дни Иван Иванович ставил пиявки, толлок всякие порошки у себя в аптеке, хлопотал по обустройству завода минеральных вод, взращивал абрикосы в садах за Черкасскою горою и ананасы в теплицах, из коих потом получался игристый квас, в общем, был человеком деловым и скуповатым. Иное дело, когда наступали дни досуга и у него в садах, в специальной беседке, в окружении гипсовых наяд, под шелест струй небольшого фонтана, в чаше которого плавали живые карпы, собиралось общество.

Иван Иванович представлял в черной мантии и черной же ермолке, вызывал духи умерших родственников и великих деятелей, чревовещал, говорил на библейских языках и однажды предсказал строительство нового вокзала по проекту инженера Шретера.

Лиза, конечно, как выпускница Бестужевских курсов, считала увлечения подобного рода тормозом просвещения и позором гостиных, однако же, искала способ, сама себе, впрочем, не признаваясь, как-нибудь так изловчиться, чтобы Иван Иванович, все же, погадал ей на Семиградова: о том, чтобы пойти к цыганке и уладить дело обыкновенным образом с помощью карт и речи быть не могло.

Оказии не нашлось, да и шалости эти Ивану Ивановичу вскорости приелись...

2

К мечтаниям всегда располагают подрумяненные вечера бабьего лета, когда в воздухе носится какая-то тонкая серебристая пыль, пахнет мальвою, сыпет крупитчатый дождичек, и бьется о стекло одинокая оса, и крики соек, и сосны на дальнем холме кажутся стеною древней крепости...

В один из таких вечеров Лиза, по обыкновению своему, перебирала в уме все возможные способы собственного соблазнения и побега с Семиградовым. Занятие это требовало созерцательного покоя, чтобы воображение не бушевало, а все картины и сцены выходили так, будто написаны Евдокией Петровной Ростопчиной прозою.

Устроившись на софе с раскрытою книгою, выбранною чуть не наугад, слегка прикрыв глаза, она замирала и за частоклолом ресниц все казалось ей будто запорошенным чем-то нездешним и таинственным. Над головою ее, на громадном дедовском ковре висели два запаянных пистолета, кабардинский кинжал с камнями на ручке и две перекрещенные шашки, вывезенные дедом, подбесаулом лейб-гвардии казачьего Его Величества полка, откуда-то с Кавказа, а подле окна и прямо перед софою, на бюро, высилась лампа в виде бесстыдного кентавра, из-под абажура которой яичным желтком высачивался свет.

Вдруг на выпуклом толстого стекла боку лампы дрогнул блик от рукояти кинжала, сама лампа превратилась в факел, и от него желтый отблеск на сугробы, и Семиградов в медвежьей шубе, кудри вразлет, без шапки, влечет ее к саням, и каурый коренной уж роет снег копытом, и пар из ноздрей, и...

Нет. Зимой не хорошо. У нее муфты новой нет, и валенки одевать придется, верно, а в валенках это уж и вовсе нэ па бьен...

А вот, коли б, скажем, летом... В июне, что ли. На пруду, допустим. Пикник. Общество, закуски на коврах, в корзинках вина, цыгане, все слегка во хмелю, и тут ссора: Семиградов вызывает... кого бы?... а вот этого Никифорова, поручика, у которого что ни день, то в фараон режутся и в которого Лиза в прошлом месяце влюбиться собиралась, а он камеристку графини Львовой обрюхатил... Дуэль. Общество напугано, дамы побледнели, требуют немедленно прекратить, послали за приставом... У Семиградова первый выстрел, он целится, но подлый Никифоров стреляет первым, Семигардов падает, Никифоров с мерзким хохотом под-

кидывает вверх пистолет и исчезает, она подбегает, склоняется над бездыханным телом... Нет! Жив. Немедленно приказывает взнести его в пролетку, сама правит, стоя, и кони летят по степи...

Однако, лучше наоборот, лучше, если Семиградов этого Никифорова убивает, подлеца, а Лиза его спасает от преследования, и они вместе бегут... куда бы?..

На Кавказ? У прадеда, говорят, была какая-то черкешенка, говорят, привез ее с собою, и был большой скандал, а после уж как-то тайно отослал ее куда-то, чуть ли не в Персию... Она крадет из папенькиного сейфа все драгоценности и ассигнации, потому что Семиградов проигрался Никифорову и в долгах, и они бегут, бегут... Хотя, что там делать, на Кавказе?.. Там кислые воды, скалы, аулы, одна баранина с лапшой и абреки...

А вот в Персию. Ах, как рассказывал про Персию Иван Иванович!

Ездил он туда, в Баку, за абрикосовыми деревцами и саженцами хурмы, которую собирался взрастить на южных склонах Черкасской горы, а также и граната, чтобы делать у себя на заводике гранатовое вино. Показывал цветные открытки и дагерротипы Прокудина-Горского с видами, а также и миниатюры из тоненьких книжек, написанных арабскими каракулями.

Намекал, что там его прельстила-де некая персиянка, из-за чего чуть было не зарезали его, а потом еще хотели ограбить на тамошнем рынке, да он не дался. Угощал какой-то особенною халвою из ханского города Шеки. Халва была приторной, клейкою, тягучей и похожей на вермишель: Иван Иванович желал завести у себя производство этой халвы и устроить пекарню, чтобы выпекать сдобные татарские пирожки с орехами и медом.

Живал он там, в Баку, в самом центре старинного города, окольцованного стеною и с башней невероятной толщины и высоты, на которой по ночам светит маяк, а древности у подножия ее, о чем есть верные свидетельства, казнили лютой смертью святого Варфоломея. В Шеки же, докуда от Баку день пути, две ночи ночевал он в самом настоящем караван-сарае, где верблюдов держат в наигромаднейшем подвале, тогда как наверху струится прохладный фонтан, а вокруг него на подушках и коврах сидят почтенные, благовоспитанные татары и пьют черный чай с розовою водою из продолговатых стаканчиков.

Обедал он в духане рядом с дворцом шахиншаха, откуда со стены открывается потрясающий вид на променады вдоль моря, в особенности нахваливал пирог наподобие нашей кулебяки, только внутри рис с каштанами, изюмом, ягнятиной и вялеными абрикосами, а в самом дворце видел павлинов, дикобраза и одноглазого пардуса на цепи, которого ему было очень жалко. Хотел выкупить и выпустить на волю, да, оказалось, собственность его сиятельства Ивана Егоровича Амилахвари...

Там же увлекся он дервишами, учением суфиев и деланием дагерротипических карточек, окончательно забросив спиритуализм, вследствие чего заложил, по приезду, рядом с ананасною оранжереей башню вроде той, что в Баку, только пониже, а в ней намерение имел обустроить салон живых картин, где устраивались бы чтения персидских стихотворцев. Посетителям и гостям подавали бы там халву, абрикосовое варенье, чай, гранатовое вино, хурму и прочее, а по вечерам на татарских сазах и прочих магометанских балалайках играли бы музыканты для придания салону атмосферы мистики и декадентства.

Интересно, что носят летом в Баку... Должно быть, как в Ялте. Что-нибудь легкое, воздушное, зонтик непременно и шляпку надеть, кругленькую, из соломки и чтобы поля небольшие, а на плечи тальму обязательно, муслиновую, невесомую. А на ноги туфельки татарские, бархатные, вышитые, с загнутыми носами.

И вот уж она опирается на локоть Семиградского, а под туфельками булыжник, горячий, скользкий, а уточки кривые, узкие, выются кружевом, и от нависающих сверху балконов фиолетовая тень, и виноградные заросли поверху, и пахнет зноем и карамелью... Он ведет ее вдоль моря — пальмы, белые валуны, чайки, голубая пустыня в белых зернах парусов, и вот они уже

сидят на высокой террасе и он ей подливает чаю из медного кувшинчика с длинным узким горлышком, и подносит к губам белый татарский пирожок с орехами, а потом...

А потом... Вечереет: его рука, ее рука, и стихает какая-то далекая унылая музыка, и вот уж губы их смыкаются, и не в силах она противустоять, и нег, истома разливается по всему телу...

И что ж, эдак каждый день? И опять духаны, ослики, чай с халвою, камни, плоские крыши, башня, попугаи, павлины... Он будет пить гранатовое вино, верно, еще и играть начнет и проиграется, и так из недели в неделю, из года в год, жара и попугаи, и снегу захочется, и стесненность в средствах, и образуется у него на макушке лысина, отрастет пузцо, разыграется подагра, заведет себе персиянку, потому что она тоже обрюзгнет, поблекнет, и папенька проклянет и откажет в наследстве. Пойдут морщины и вся отяжелеет... И сделается он как Иван Иванович, только Иван Иванович нынче живет в свое удовольствие, безо всяких французских поцелуев, зато и не играет, и соблазнять никого не собирается...

Лиза бросила взгляд на кинжал: вот взять бы да и прямо в сердце, чтобы заутро нашли ее бездыханную, и Семиградов бросился бы, в слезах, к ее холодным стопам, и папенька бы, указуя на него пальцем, прошептал бы помертвевшими губами: «Это вы ее убили!»... Но представила себе холод стали, треск собственной кожи и костей, фонтаны крови на новеньком, за три рубля с полтиною, шифоновом пеньюаре, промокнула глаза ажурным краешком, и решила никогда, никогда в жизни больше не пить чаю...

3

...Проснувшись поутру, Кирилл Мефодьевич долго соображал, к чему бы всю ночь снилось ему, будто он изобрел способ видеть сквозь стены и даже записал его математическою формулой, причем, так точно и ясно, словно все было наяву.

Скинув босые ноги на ворсистый ковер, по полю которого была изображена сцена битвы турецких войск с войском персидского шаха, он откашлялся и пошарил глазами по комнате:

— Кузьма!

— Сичас нес, барин.

Опрокинув рассолу с красным перцем и гвоздикой, Кирилл Мефодьевич зевнул, хрустнул плечами, и потянулся к стопочке:

— Ну, чего нового, Кузьма?

— А от Прокудина новый счет, и старый еще не выплачен, да от мясных рядов два счета опять же, и...

— Э-э, брат! Я не об делах спрашиваю, а для настроения. И так кошка на душе скребет...

— Ну, так тогда это... Потемкин барышню свою замуж выдает.

— Лизу? И за кого?

— А за Кологривова-с. Вон и приглашение уж давеча принесено. На пятницу.

Кирилл Мефодьевич махнул дягилевской рябиновки, бросил в рот кусок буженины, глубокомысленно пожевал:

— Отлил пулю медиум. Там приданого на воробыный чих не будет.

И подумал, что не надо, вот не надо было вчера пароли гнуть, а обойтись, наоборот, мирандодем, да и «шустовский» квашеной капустой разве что извозчики закусывают. Хотя, отчего бы и не капустою: все лучше, чем застрелиться...

ОЗАРЕНИЕ

Захлопнув сочинение господина Энгельса, Григорий Иванович Прозоров достал из буфета большой графин водки.

Весь мир, который он до этого обожал, вдруг представился ему одним огромным гермафродитом, опарышем чудовищного размера, беспрестанно совокупляющимся, гадающим, плодящим и пожирающим других опарышей.

Григорий Иванович выдохнул, поморщился, плеснул в стопочку, подошел к окну, распахнул, глянул вверх: даже синева неба теперь навевала на него тоску, потому что он знал — за этой синевой, согласно прогрессу, таится полный, окончательный, беспросветный мрак и нежить.

Знать-то знал, а не верил. Не могло такого быть, чтобы Господь, раз уж милосерден, выдумал такую забаву, чтобы подвешивать планету чер-те где с живыми людьми, которые по образу и подобию. Может быть, у господина Энгельса нигде об этом и не сказано, однако ж, если господин Энгельс подразумевает, что и Бога никогда не было, то зачем книжку написал?

Ну, не веришь, так и не верь, твое дело, тебе отвечать, а людей в дураках держать негоже. Не все люди немцы.

Григорий Иванович погрозил пальцем случайно набежавшему облачку, опрокинул анисовую в волосатый рот, шумно сказал: «ффух!!» и зарекся иметь дело с Барыкиным.

— И ведь какая сволочь! Не изволите ль, Григорий Иванович, последнее слово европейской мысли, веяние прогресса, так единым духом и пролетит... И голосок-то этакий, язвы его, будто пудрою присыпан... Четыреста страниц! Адвокатишка вонючий. Это как, чтобы мне, второй гильдии человеку, с медалью на ленте святой Анны «За усердие», четыреста страниц энхельсонов всяких? Эт-то что же, выходит? А выходит, что лучше всех живется, значит, только шарманщикам да цыганам! Имущества недвижимого нету, что ни куст, то и отечество...

Оно бы, рассудил Григорий Иванович, и ничего, с одной стороны. Мысли об этом самом, об гуманизме и об человечестве в голову не лезут. А с другой, выходит, папенька маменьку в рабстве содержал. В кандалы, что ли, заковывал?

«...А после, значит, все возьмет да и отомрет. Скукожится, да и отвалится, как банный лист. А коли все отомрет, то есть, ни семьи, ни державы, ни государя, так это что ж? И кондитерскую псу под хвост? Динамо-машину куда девать? А движитель паровой, пресс гидравлический? Приказчикам куда податься, а им по 50 целковых в месяц вынь да полож, у каждого детишек штук по пять!.. И слова-то все какие, сучье семя, эксплуатация, узурпатор, классы... Живешь себе эдак-то, живешь, на церковь жертвуешь, больницу в уезде построил, школу заложил, а узурпатор».

Мгновенно нарисовалось Григорию Ивановичу безобразие. Толпы оборванцев, повешенные на столбах дворники, помойные реки, гуляющие бабы, а в кондитерской сидит и жрет его мазурки да альдеичи огромный бородатый немец. Совершенно мертвый. Потом вообразилось, будто перед ним тощая задница Барыкина и сейчас он по ней мокрыми вожжами, чтоб сказал, подлец, когда ж это оно все отомрет-то, чтоб пожить еще по-человечески напоследок. А тот визжит и лопочет по-немецки...

Григорий Иванович бросил взгляд на книжку: слава Богу, прикончил, до сих пор в голове одни междометия. И почувствовал облегчение, словно выдавил наливной, иссиня-желтый прыщ изрядного размера.

Затем, ощутив некоторую зыбкость в области желудка, захлопнул он окно и, потоптавшись в гостиной, велел к обеду себя не ждать. По пятницам он любил захаживать в трапезную мужской обители, где его, особенно под заливного судака и соленые рыжики, иной раз посещали счастливые мысли.

Сегодня, однако ж, на еду смотреть не мог. Все чудилось, будто шевелится в нем живой заячий треух.

...Переходя улицу, Григорий Иванович, оглядевшись, отломил с карниза молодую сочную сосульку и с наслаждением захрустел ею. Снег под сапогами вспыхивал радужными искрами, с колокольни Троицкого монастыря, аккуратно рядом с трапезной, шумно спорхнула стая ворон, баба несла с рынка изумленного гуся в огромной корзине, из соседнего дома со второго этажа вкусно пахло печеным хлебом.

Он ел эту сосульку, облизывая пальцы, и с отвращением — с души воротило — представил, как сейчас в трапезной пахнет горячими пышками, как от горшков с гречневой, на постном масле, кашей стелется дымок по витиеватым буквам прямо над общим столом, в которых он, в общем, особого смысла не находил да и не искал. «Се бо потребися от земли память твоя, сынове твои и дочери...».

«... И ведь через неделю сорок лет. Сорок! Ни семьи, ни частной собственности, ни государства... Ну, собственность-то оно, положим, что ж? Собственность, оно оттого и собственность, что собственным умом. Не дядя подарил. А как без нее? Это что ж, и куска мыла, что ли, не иметь? Так, значит, и ходить, как обезьян вонючий? У, ракалия, щелкопер губастый... Сто рублей должен, а туда же... В цугундер бы его. А там в Тобольск. К тунгусам. И ведь за таким дураком Настасья Павловна! Сама пошла, а ведь, казалось, женщина из высших сфер... Мне назло. Сам виноват. Оробел. Духу не хватило. Н-да. Вот насчет семьи это — да, это признаю, это я маху дал...».

Вообразилось ему, что влачится он в телеге, под дождем, по степи, в мокром блохастом треухе, и с тоскливого неба грозит ему перстом сам Господь Бог, и конца краю этой степи не видно — все грязь да жухлая стерня, да кобыла с выпуклыми ребрами... Как перст один.

Григорий Иванович поежился, физически ощутив, будто его, голого и связанного по рукам и ногам, возложили на алтарь общественного прогресса.

Для чего, для кого он, не последний человек, ум свой надсаживал? ...Сынове твои и дочери, моего бремя болезни и труды... Смущало вот это самое «потребися», остальное было понятно: дочери и сынове. Потомство. Потомки. То, что будет потом.

А что потом?

На кого кондитерская отойдет? А усадьба в Алтуфьеве? А дом доходный в Кузнецке? Кто оно такое, потомство-то? Какое могло бы быть? И сколько?

Допустим, двое. Казак и девка. Больше не надо: вон у Красильникова четверо, так ведь пересобачились из-за наследства, позорище на две губернии...

Да. Двое, например. На кого похожи?

Ну, парень-то, положим, точно на него, чтоб прозоровская порода — нос так уж нос, глаза турецкие, черные, и кулаки с антоновское яблоко... А девка...

Хорошо бы на Веру Петровну — такие же ямочки на щечках и локотках, эдакая приятная смуглость, слегка цыганистая, вся такая аккуратная, с выпуклостями, и нижняя губка будто вишенка... На прошлую Пасху, когда у церкви христосовались, так прижилась к нему этим своим бюстом, жаркая вся, и фиалкою от нее веяло... И третьего дня у Скомороховых на именинах все под столом норовила бедром прижаться и намекнула, что принимает по пятницам после обеда...

...Велев о себе доложить, Григорий Иванович основательно встряхнул шубу, сам набросил ее на вешалку, отослав прислугу, расправил бороду перед овальным, в тяжелой бронзовой раме, зеркалом, одернул сюртук и шагнул в гостиную, оступившись на пороге.

Вера Петровна, в шифоновом голубеньком домашнем платье, с книжкой в сафьяновом переплете, полулежала на софе и делала вид, что поглощена. Из глубины декольте на Григория

Ивановича смотрели два соблазнительных плода оливкового оттенка, меж которыми подрагивала тонкая серебряная цепь с крупной жемчужиной.

Перед Верой Петровной на низком чайном столике сиял огнями самовар, в розетках плавило земляничное варенье, на граненых боках графина вспыхивали рубиновые зарницы.

— Григорий Иванович! Сердце не обманешь. Так и думала, что уж вы нынче непременно навестите. Что-то, думаю, Григорий Иванович не идет. Уж не захворал ли. Признаться, скучала...

— Ну, вам ли скучать. От поклонников отбоя нет. Барыкин, например, и прочие всякие ажитацию делают...

— Барыкин? Вот уж выдумали! Настасья Павловна этим добром сама сыта по горло, а мне с ней его делить — так ведь как бы не помер. Уж больно плюгав! Не то, что... некоторые. Женатый мужчина, все равно, что московский калач без ручки: не ухватишь.

— Да? Хм... Таково, стало быть, мнение ваше о семейственности будет? О потомках...

— Ну, вот когда до потомков дойдет, тогда и хлопотать стану. А сейчас что ж? Наливки не желаете ли? Чистый мёд, сама руку приложила...

Григорий Иванович аккуратно пригубил стопочку, промокнул салфеткою усы, пошевелил, с одобрением, бровями и набрал побольше воздуха в грудь:

— А хотелось бы знать, Вера Петровна, какого суждения вы держитесь об Энгельсе?

— Об чем?

— Об Энгельсе.

— Ах, об этом... Как не знать, знаю, конечно!

— Энгельса?

— А что ж тут такого? Давеча целую коробку велела взять.

— Э-э... Коробку?

— Коробку. У Трунова. Странно, что у вас их не делают. А у Трунова-то они все с меренгою и с абрикосом.

— Мня... это... Чего взять изволили?

— Так ведь этих, энгельскихухенов! Чудо, какие воздушные, прямо так и тают. Хотите, велю принести?

— Слава те Господи!

— Что-с?

— Да это я так, Вера Петровна, так как-то... Я, собственно, хм! Я вот что хотел, милостивая государыня Вера Петровна...

Вера Петровна привстала с софы. Скрипнули половицы. Большая мясная муха ударилась о стекло. Толстый рыжий кот, проходя мимо Григория Ивановича, потерся хвостом о штанину. С носика самовара свесилась тяжелая капля, из которой на Григория Ивановича грушеобразно взглянуло его собственное отражение

— Что ж вы замолчали, Григорий Иванович?

Григорий Иванович думал о том, что завтра же... нет, сегодня, сейчас поставит в церкви свечу во здравие рабу Божию Энгельсу. А другую за упокой. Чтоб уж наверняка. Литию. И, пожалуй, еще и сорокоуст. Да заодно уж и парастас на родительскую субботу. То-то немца прoderет. Будет ему энгельскихухен с изюмом!.. И рецепт у Трунова выписать.

— Да-с! Да-с! Так я вот что. Не соблаговолите ли, сударыня, сей же час дать мне ваше... То есть, составить мое счастье, и тому подобное...

...Муха с новой силой заколотилась об заиндевевшее стекло. Ударили рассыпчатым звоном ореховые напольные часы, и расплзлось по скатерти душистое пятно от опрокинутой рюмки с вишневою наливкой...

ГАЗЕТЧИК

Флавиан Александрович влюбился, не приходя в сознание.

Казалось бы, восемнадцатое июля, хороший понедельник, уютная скамейка под липами против галантерейной лавки Иван Степановича Умнова, журнал «Самокатъ» со статьей про изобретение английское, называемое футбол, организм в предвкушении клюквенного квасу, новая летняя пара, сладковатый запах прелых яблок...

И вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд.

Со свежесмытого стекла витрины бакалеи, что через пути единственной в городе конки, на него смотрел ангел. Черные кольца локонов над огромными глазами, полные губы в полуулыбке, короткий, чуть вздернутый нос...

Флавиан Александрович привстал, быстро огляделся — улица вплоть до пожарной каланчи, за которой начинался парк, была совершенно пуста. Только у фонарного столба тужился, задрал лапу, кудлатый пожилой пес. Ангельский образ присутствовал сам по себе, совершенно ни от чего не отражаясь...

Переведя взгляд обратно на витрину, Флавиан Александрович заметил, что прелестная, слегка размытая, в легких радужных переливах, словно под тончайшей пленкою воды, парсуна слегка склонила головку на бок. По бархатистой щечке скользнул солнечный зайчик, кажется, дрогнули длинные ресницы, чуть приоткрылись волнообразные губы... Отражение теперь смотрело на него в упор, оно его изучало — придирчиво, с легкой насмешкою и многозначительно, как, бывает, женщина вдруг вцепится взглядом прямо в глаза и невозможно угадать, что стоит за этим взглядом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.